

Марр и Соссюр: сто лет спустя

© 2021

Борис Михайлович Гаспаров

Колумбийский университет, Нью-Йорк, США; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия; bg28@columbia.edu

Аннотация: Несмотря на противоположность интеллектуальных темпераментов и научной судьбы Соссюра и Марра, в их взглядах на природу языка и вытекающие из нее задачи науки о языке можно обнаружить глубинное сходство. Оно восходит к общему для них контексту антипозитивистской философской и научной революции 1890-х — 1900-х гг., идеи которой они отразили, каждый по-своему, в своей попытке пересмотреть основания науки о языке. У Соссюра критика лингвистического позитивизма вытекает из необходимости постулировать предмет исследования в качестве идеального конструкта, тогда как у Марра она ведет к призыву покончить с нормативной избирательностью в отношении к языковому материалу. Общим в их позиции является резкое отрицание подхода к языку как к феномену, непосредственно данному в наблюдении, подобно предмету наук о материальном мире. Из этого вытекает сходство между двумя учеными в отношении ряда других фундаментальных идей о природе языка. В их числе: стихийность развития языка во времени; невозможность «первоязыка», вытекающая из релятивной природы языкового знака; резкая критика «органического» подхода к языку как к тотальному единству.

Ключевые слова: история лингвистики, Марр Н. Я., позитивизм, де Соссюр Ф., структурализм, теория языка

Для цитирования: Гаспаров Б. М. Марр и Соссюр: сто лет спустя. *Вопросы языкознания*, 2021, 1: 104–120.

DOI: 10.31857/0373-658X.2021.1.104-120

Marr and Saussure: A hundred years later

Boris M. Gasparov

Columbia University, New York, USA; National Research University
Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia; bg28@columbia.edu

Abstract: The article explores parallels between Nikolai Marr's and Ferdinand de Saussure's views concerning the fundamental nature of language and methodological challenges faced by modern linguistics. These parallels take their roots in the philosophical revolution at the turn of the twentieth century, whose principles the two scholars reflected, each in his own way, in their efforts to revise fundamental postulates of linguistic studies. Saussure's approach highlighted the need of an explicitly constructed concept of language as the object of linguistic studies, while Marr made the principal target of his critique of nineteenth-century linguistics its selective and normative treatment of linguistic data, which held linguistic studies captive of pre-established conventional categories and perspectives. What was common between the two linguists was their assertion that language is a cognitive phenomenon rather than a material entity similar to those described by natural sciences. This radical change in understanding the nature of the meaning of linguistic communication and linguistic signs stood behind a number of theoretical ideas that were common to both scholars. Among those ideas were an emphasis on an elemental nature of language development, and the ensuing rejection of the idea of its singular beginning point; an emphasis on the relative character of linguistic signs; and a strong opposition to the organicist approach to language as a coherent unity.

Keywords: history of linguistics, linguistic theory, Marr N. Y., positivism, de Saussure F., structuralism
For citation: Gasparov B. M. Marr and Saussure: A hundred years later. *Voprosy Jazykoznanija*, 2021, 1: 104–120.
DOI: 10.31857/0373-658X.2021.1.104-120

Введение

Если посмотреть на героев этой статьи ретроспективно из сегодняшнего дня, кажется, что трудно представить себе две фигуры более непохожие, более того, несопоставимые. Один остался в исторической памяти (насколько обоснованно — другой вопрос) как создатель структурального подхода к языку. Другой — как яростный критик лингвистического рационализма, противопоставивший ему теорию тотального скрещения и перемешивания языкового материала в процессе его употребления, где не действуют никакие твердые правила и логические ограничения. В судьбе идей Марра роковую роль сыграла действительность второй четверти минувшего века, та политическая и духовная атмосфера, в которой мессианская проповедь «нового учения» сначала трансформировалась в brutальное орудие подавления альтернативной мысли, а затем и сама была раздавлена с такой же brutальностью. Но и в посмертной судьбе Соссюра и его идей важная роль принадлежала ученикам и последователям, опубликовавшим на основании его курсов лекций книгу, ставшую краеугольным камнем современной теоретической лингвистики, а главное, **прочитавшим** ее в духе постулирования языка как замкнутого в самом себе системного устройства, принимаемого всеми говорящими как абсолютная данность¹, — интерпретация, сделавшая «Курс общей лингвистики» главной мишенью постструктуралистской критики и семиотики конца минувшего века.

В последние тридцать лет, правда, появились попытки отделить Соссюра от структурального «соссюризма» [Bouquet 1997; Hagège 2003; Arrivé 2016]². Они были связаны главным образом с обнаружением и публикацией фрагментарных записей Соссюра, содержание которых если и не отличалось кардинально от того, что при желании можно заметить и в «Курсе общей лингвистики», то сделало явными иные смысловые акценты³. Аналогично и одновременно с этим появились попытки если не «реабилитировать» идеи Марра, то по крайней мере вывести их из рамок расхожих представлений о «марризме» — того по сути карикатурного интеллектуального образа, который он получил в трактате Сталина и который лингвистическое сообщество с готовностью приняло как дань освобождению науки от интеллектуального террора⁴. По любопытному совпадению первая после

¹ См. сопоставительный анализ различных прочтений «Курса» [Harris 2001/2003].

² Важную роль в реинтерпретации наследия Соссюра сыграли также критические издания «Курса общей лингвистики» [Saussure 1967; 1972–1974].

³ См. [Saussure 2002]. Первая публикация избранных отрывков из лингвистических записей Соссюра появилась еще в 1950-е гг. [Godel 1957]. Важную роль в переосмыслении его наследия сыграла публикация (также в избранных отрывках) его работ по анаграммам [Starobinski 1971].

⁴ До второй половины 1980-х гг. память о наследии Марра и его идеях оставалась sporadicческой. Важным событием в активизации памяти о Марре и его школе стал выпуск антологии [Сумерки лингвистики 2001]. Среди работ, появившихся вскоре после окончания советского времени, своей академической обстоятельностью и информативностью выделяется книга [Алпатов 1991]. Автор не скрывает своей антипатии к идеям Марра и к той роли, которую «марризм» сыграл в истории советской лингвистики 1930-40-х гг. С Алпатовым полемизирует [Илизаров 2012], чья односторонне апологетическая позиция в свою очередь вызвала резонные возражения [Добренко 2013]. Полезным соположением различных воззрений на предмет явился сборник статей [Sériot (éd.) 2005].

В целом приходится констатировать, что исторической оценке Марра до сих пор препятствует противоречие между естественной антипатией к эксцессам «марризма» (сталинистским по своей

1950 г. обширная публикация извлечений из лингвистических работ [Марр 2002] вышла в тот же год, что и том рукописных заметок Соссюра, и в таком же формате тематически организованных фрагментов.

Что объединяет эти попытки реабилитации и что делает их недостаточными, это их анахронистический характер. Мы по-прежнему заняты выяснением места Соссюра или Марра в интеллектуальной истории последующего столетия, стремясь лишь избавиться от наиболее odioзных наслоений в нашей памяти. Свою задачу я вижу в том, чтобы посмотреть на этих двух ученых в контексте **их собственной** эпохи. В этой перспективе между двумя столь различными на поверхности системами мысли обнаруживается менее очевидное, но более глубокое сходство.

Стоит напомнить в этой связи, что Соссюр и Марр — современники; первый родился в 1857, второй в 1864 г. Оба встретили духовную революцию 1890-х — 1900-х гг. достаточно молодыми, но интеллектуально уже сложившимися учеными, с определившимся кругом интересов и знаний. Суть революции рубежа века, если попытаться сформулировать ее в немногих словах, состояла в радикальном пересмотре оснований научного знания — тех подразумеваемых фундаментальных постулатов каждой научной дисциплины, которые стоят за кажущейся эмпирической самоочевидностью изучаемого предмета и конструируют его именно в качестве объекта научного познания. Ее философской парадигмой стали различные ветви неокантианства, эмпириокритицизм, а несколько позднее феноменологическая критика объекта познания. В 1890-е гг. это движение захватило практически все сферы научного знания — от критики оснований математики, физики, химии до революционной смены научной перспективы в психологии, социологии и антропологии⁵.

И для Соссюра, и для Марра новые интеллектуальные веяния конца XIX в. стали переломным моментом в их научном развитии. Влияние радикальной смены парадигмы научного познания явственно ощущается в том, как оба они, каждый по-своему, переосмысливали и сам предмет своих занятий, и фундаментальные основания уже имевшегося у них научного опыта.

Марр начинал свою научную деятельность в конце 1880-х гг. как специалист по средневековой грузинской литературе. Выдвинутый им тезис о том, что фабула поэмы Шота Руставели следует персидскому эпосу и что таким образом «литературные сюжеты персидского народа, мусульманского, оказались восприняты как родные национальные неродственным с ним народом, притом христианским» («Основные достижения яфетической теории» (1925) [Марр 1933: 15–16]), встретил сильнейшее противодействие со стороны местной интеллектуальной элиты, увидевшей в нем отрицание национальной культурной самобытности. По словам Марра, «старая общественность меня занесла в проскрипционный список отрицателей груз.<инской> культуры и даже врагов груз.<инской> национальности» [Там же]. И много лет спустя, когда в относительно либеральной атмосфере 1960-х гг. в Тбилиси были изданы работы Марра по грузинской литературе [Марр 1964], во вступительной статье сообщалось, что в книге сохранены «ошибочные» высказывания Марра о персидском влиянии на «Витязя в тигровой шкуре», от которых он впоследствии якобы сам отказался, придя к убеждению, что поэма представляет собой «оригинальное произведение грузинского гения»⁶.

Переломными для Марра, по его собственному свидетельству, стали две археологические экспедиции в Ани в 1892 и 1893 гг. И сами раскопки, с наглядностью показавшие

сути) в 1930-40-х гг., с одной стороны, и не менее естественная антипатия к «освободительной» акции Сталина, с другой.

⁵ Итог критике основополагающих постулатов различных научных дисциплин подвел в 1920-е годы трехтомный компендум Эрнста Кассирера [Cassirer 2001].

⁶ См. вводную статью И. В. Мегрелидзе [Марр 1964: 16]. В статье не указано, где и когда Марр отказался от своих прежних взглядов.

«несостоятельность того, что мы знали из книжных источников, свидетельств историков и вообще писателей» перед лицом «вещественных памятников», и «общение с народом, его живой речью» в ситуации «смешанного населения армян, турков и курдов», смогло поколебать, «если не перевернуть», научное мировоззрение, построенное на идее «цельности и изолированности каких-либо национальных культур» [Марр 1933: 16]. Между тем «нарастающее недовольство» работами Марра в Грузии превратилось «в бурю негодования», когда он «стал выяснять факт перевода первого памятника грузинской письменности — Библии — с армянского» («Автобиография») (1928) [Там же: 15]).

Возникший конфликт побудил Марра оставить занятия средневековой литературой (к ней он вернется в начале 1930-х гг. в связи с исследованием источников легенды о Тристане, вызвавшими интенсивный научный отклик в среде ленинградских ученых, в той или иной степени испытывавших влияние его идей)⁷. Вся его последующая деятельность оказалась связанной с Петербургом-Петроградом-Ленинградом.

В Петербургском университете Марр погрузился в академическую среду, уникальную по богатству и разнообразию изучаемых языков, многие из которых оставались почти внеположными современной науке в силу непринадлежности к индоевропейской языковой семье, а зачастую также отсутствия у них письменной традиции. По словам Марра, традиционная европейская наука, развивавшаяся почти исключительно в русле сравнительной грамматики индоевропейских языков, просто не имела орудий для работы с этим совершенно инородным материалом. Парадоксальным образом эта уникальная среда возникла как результат административных репрессий в отношении Казанского университета в 1850-х гг., следствием которых явился перевод его Восточного факультета в Петербург. Для Марра, однако, этот акт академического «скрещения» имел свою положительную сторону: по его словам, «пересадка» восточного факультета «невольнo внесла закваску ориентации на Восток и восточного гуманизма», подобно тому как в свое время приобщение к античному миру позволило Ренессансу преодолеть схоластику. Это утверждение может показаться курьезным, если не вспомнить сходные выражения в «Слове в романе» Бахтина, рисующие (по моему убеждению, не без влияния Марра) картину разноречия, в которой утверждаемые элитой нормы размываются «нашествием варваров». Как бы там ни было, Марр максимально использовал открывавшиеся перед ним возможности. Его учеба развивалась поверх административных барьеров, параллельно по четырем направлениям, или «разрядам»: армянский и грузинский; армянский-персидский-турецкий-татарский; санскрит-персидский-армянский и арабский-древнееврейский-сирийский [Алпатов 1991: 7]. Из этой языковой массы выросла иконокластическая «яфетическая теория», основания которой радикально противостояли господствующим лингвистическим воззрениям, сформировавшимся на базе индоевропейского языкознания XIX в.

Соссюр, несколько старший по возрасту, к концу века «успел» и пройти полный курс в рамках ведущей в то время школы индоевропейской лингвистики в Лейпциге, и отличиться на этом поприще блестящей умозрительной реконструкцией протосистемы индоевропейского вокализма. Но позитивистская уверенность адептов лейпцигской младограмматики в непосредственной данности объекта исследования, как будто ожидающего, чтобы были сформулированы законы, по которым он построен и развивается, рано стала вызывать у Соссюра саркастическое недоумение. Переломным событием для него оказалась экспедиция в Литву в 1893 г., куда он отправился с целью внести ясность в еще одну традиционно туманную область индоевропеистики — историческую акцентологию. Примечательно, что это был для него первый опыт столкновения с массовым устным по своему происхождению материалом. То, что в нем увидел Соссюр, оказалось, вместо ожидавшегося сложного, но в конечном счете логически организуемого корпуса данных, таким противоречивым наложением сходящихся и расходящихся факторов, которое разрушало

⁷ [Тристан и Иольда 1932]. В числе участников тома: И. Г. Франк-Каменецкий, О. М. Фрейденберг, Б. В. Казанский.

конвенциональные представления и о самом предмете лингвистики, и о телеологической направленности лингвистических описаний. (Ирония ситуации заключалась в том, что Соссюру, несмотря на испытанный им методологический кризис, удалось сформулировать важный акцентологический закон, носящий его имя.) В письме к Мейе в январе 1894 г. Соссюр говорит о невозможности далее заниматься работой, которая до сих пор приносила ему столько радости, не выяснив предварительно основания того предмета, на познание которого эта работа направлена: перспектива, не вызывающая у автора письма ни малейшего энтузиазма, в силу невероятных трудностей, которые он предвидит на этом пути⁸. Именно в эти годы (1894–96), задолго до лекционных курсов в Женеве, Соссюр набирается множество фрагментарных заметок по лингвистике, большая часть которых будет обнаружена лишь столетие спустя и увидит свет в 2002 г.

У ситуативной мобильности и пестроты спонтанного речевого поведения не находилось (в отличие от предмета естественных наук) никакой безусловно данной точки опоры, призванной стать тем исходным постулатом, на основании которого предмет лингвистики оказалось бы возможным конструировать в рамках антипозитивистской критики научного знания. «Unde exoriat?» — «откуда исходить, с чего начать?» — этот вопрос, поставленный в заголовке одного из лингвистических фрагментов 1890-х гг., остался в то время без ответа. После двух лет напряженных методологических поисков Соссюр фактически оставил занятия лингвистикой. Новой сферой его интересов на рубеже века стала история мифов и легенд античности и средневековой Европы. (Опубликованные лишь недавно записи Соссюра, посвященные истории легенды о Тезее и Тристане [Saussure 2003], обнаруживают множество параллелей с исследованием аналогичного круга у Марра и его сотрудников четверть века спустя.) К общей лингвистике Соссюр вернулся лишь в 1906 г. в связи с необходимостью преподавать этот предмет небольшой группе студентов в Женевском университете.

Соположение методологического кризиса, пережитого Соссюром, с тем, к чему пришел в эти же годы Марр на основании совершенно иного опыта и иной психологической настроенности, помогает и увидеть общие черты между этими двумя явлениями лингво-философской мысли рубежа XX в., и осмыслить их отнесенность к идеологической и гносеологической революции раннего модернизма. Рассмотрим эти странные сближенья пункт за пунктом.

1. Язык не есть феноменальная данность

Критический анализ Соссюра был близко родственен с современной ему критикой эмпирических представлений об основаниях математики и естественных наук, фундаментом которых служило убеждение, что объект научного познания вырастает непосредственно из эмпирической действительности. Примером критики этого рода может служить полемика против представления о базовых понятиях математики, таких как числовой ряд, как о непосредственном продолжении практического счета (так называемая «математика камней и орехов»). Аналогично, весь строй мысли Соссюра направлен против того, что он называет «номенклатуризмом», то есть представления о знаках языка как о своего рода наименовательных ярлыках для некоего наличного содержания, непосредственно вытекающего из физического или духовного опыта.

⁸ 04.01.1894: «[J]e suis bien dégouté ... de la difficulté qu'il y a en général à écrire seulement dix lignes ayant le sens commun en matière de faits de langage. (...) [J]e vois plus en plus à la fois l'immensité du travail qu'il on fourdrat pour montrer au linguiste ce qu'il fait. Cela finira malgré moi par un livre où, sans enthousiasme ni passion, j'expliquerai pourquoi il n'y a pas un seul terme employé en linguistique auquel j'accorde un sens quelconque» [Saussure 1964: 95].

Соссюр называет «до крайности вульгарным» (*de plus grossière*) представление о готовых, независимо существующих значениях, которые только ждут, чтобы библейский Адам (или его позднейшие перевоплощения, такие как национальный «гений» языка или генетически запрограммированная концептуальная языковая способность) подобрал для них слова [Saussure 2002: 106]. Этой глубоко укорененной традиции, ведущей свое начало из схоластической философии и классической филологии, Соссюр противопоставляет понимание знака, согласно которому действительностью знака является не его содержание и не его материальная форма, а сам факт их соединения друг с другом, без которого они сами по себе, до и вне знака, просто не существуют как факты языка. Какое именно смысловое пространство и какой именно звуковой сегмент окажутся сопряженными в данном знаке данного языка в данный момент, всецело определяется, согласно Соссюру, сложившейся к этому моменту ситуацией их употребления говорящими. Звуковая «форма» языкового знака иллюзорна в своей материальной данности, потому что вне связанного с ней значения она существует просто как квант шума, не имеющий к языку никакого отношения. Соответственно, тщетно было бы искать некое логическое единство, или смысловой общий знаменатель, в наборе смыслов, которые говорящие связывают с данным словом. Конгломерат значений у слова *supplice* ('мучение', 'мука', 'пытка', 'казнь', 'наказание') вытекает не из какой-либо стоящей за ними общей идеи, а в силу разграничения практики его употребления, санкционированного конвенцией, по отношению к таким словам, как *marture*, *tourment*, *torture*, *affres*, *agonie* и т. д. [Ibid.: 78]. (Выбор примера характерен для того чувства мучительной беспомощности, с которой Соссюр переживает бесконечную ускользаемость языка.) Биполярность знака он сравнивает с воздушным шаром, наполненным водородом: не заключенный в оболочку, водород бесследно растворится в эфире, тогда как оболочка, лишенная наполнения, превратится в бесформенный кусок ткани.

Знаки языка не имеют под собой никаких эмпирических либо логических оснований, утверждает Соссюр. Их природа чисто отрицательная: они таковы, каким сложилось их употребление в соотнесении с другими знаками. «Курс общей лингвистики» определяет этот принцип как **произвольность** (арбитrarность) языковых знаков. Кардинальным методологическим следствием этого принципа является категорическое отрицание Соссюром возможности позитивистского подхода к языку как к объективной данности, которая может описываться путем логического упорядочивания эмпирически наблюдаемых фактов. Смехотворна (*une doctrine ridicule*), по словам Соссюра, идея о том, что язык может изучаться так, как «ботаник» изучает растительный мир [Ibid.: 116].

Последующая судьба «Курса» во многом определялась тем, что содержавшаяся в нем **критика гносеологических оснований** науки о языке была прочитана как руководство к тому, как строить языковые модели по принципу внутривидовых отношений. Здесь уместно заметить, что конкретный языковой материал в лингвистических заметках Соссюра, а позднее в его лекциях, встречается лишь спорадически, от случая к случаю; по большей части это первые попавшиеся под руку (и не всегда вполне удачные) примеры из современного французского языка. Соссюр скорее избегает говорить о вещах, слишком близко ему знакомых в качестве санскритолога и индоевропеиста. Для его теоретических рассуждений о природе языкового знака конкретная языковая материя так же вторична и второстепенна, как для рассуждения Бахтина о природе слова в романе — конкретные литературные произведения и их «анализ».

В полном контрасте с этим идеи Марра возникали из его погруженности в конкретное многообразие человеческой речи. Если концепция Соссюра противостояла слепому эмпиризму позитивистской науки, то идеи Марра, напротив, возникали из ощущения эмпирической «слепоты» научной мысли, погруженной в собственные конвенции и игнорирующей реалии языкового поведения.

Соссюр напряженно интроспективен, его афоризмы своей эллиптичностью иногда напоминают внутреннюю речь — впечатление, делающееся буквальным, когда читаешь его

заметки, избыточные пропуском слов, не доведенными до конца фразами и резкими обрывами изложения. Марр, напротив, импульсивен и тяжеловесно метафоричен в своем стремлении высказать, что представляет собой язык в действительности своего употребления. Его неуклюжее многословие, иногда напоминающее речь героев Андрея Платонова⁹, силится передать образ многоязычной пестрой массы людей на улице, ничуть не озабоченных ни своей языковой разнородностью, ни логической связностью и грамматической правильностью выражения, во многих случаях даже вовсе незнакомых с феноменом письменности (не забудем, что речь идет о реалиях конца XIX в.), — и которые, однако, как-то находят способ решать с помощью языка свои жизненные задачи, взаимодействуя с другими говорящими.

Фундаментальной ошибкой современной науки Марр видит в ее укорененности в традициях классической филологии. Опыт работы с мертвыми (или, как Марр их называет, «погибшими») языками, перенесенный на живые развивающиеся языки, вызывает иллюзорный образ языка как данного в наблюдении предмета, некоей текстуальной «вещи», подлежащей осмотру и описанию. Сам факт закрепления языка в письменности, по Марру, «закабалит язык», привязав его к времени и к пространству. (Он связывает надежды на «раскрепощение» письменной речи с новейшими средствами ее передачи, «побеждающими пространство», такими как телеграф; это пророчество не так наивно, как может показаться, если увидеть в нем отдаленный прообраз тех изменений самого характера языкового общения, которые мы переживаем сейчас в связи с электронной революцией.) Лингвисты, работающие в русле этой конвенции научной мысли, категорически заявляет Марр, «были напратикованы на мертвых языках, и объяснить эти мертвые погибшие языки (...) они мнили путем сравнения с другими точно такими же мертвыми погибшими письменными языками» («Чем живет яфетическое языкознание» (1923) [Марр 1933: 28]).

Особенно страдают от такого подхода бесписьменные языки, к тому же находящиеся за пределами традиционно сложившегося европейского (или индоевропейского) культурного и языкового кругозора. Привычно повышенное внимание к письменной культуре и изящной словесности стоит как «заслон» перед глазами исследователей, мешающий увидеть, как протекает живое языковое поведение: «Звуковая речь, оттесненная письмом в тень, точно заслоном, была обеспокоена как творческий материал с его массовостью, с его многообразной техникой и с его богатейшей гаммой идеологических смен в самой культуре» («Язык и письмо» (1930) [Там же: 46]).

В языках с развитой письменной культурой возникает культ слова как самоценного феномена, а вместе с ним — звуков, из которых слово состоит, и заключенного в нем содержания. Отношение к звучащему слову как к зафиксированной данности рождает детальные фонетические описания — то, что Марр на своем полусамодельном языке называет «звукоедством», этой современной ипостасью «буквоедства» классической филологии. Язык не является «вещью», какой предстает взгляду наблюдателя записанный текст, утверждает Марр. В нем нет ничего такого, что существует как раз и навсегда данный факт, подобный материальной действительности. В перспективе, выстраиваемой Марром в опоре на конкретное многообразие человеческой речи, язык предстает как один из факторов культурной экологии, создаваемый и пересоздаваемый в бесконечном ряде конкретных речевых действий: «Натуральных языков не существует в мире, языки все искусственные, все созданные человечеством (...) Язык такое же создание человечества, как все прочие части, входящие в состав культуры» («Яфетическая теория» (1928) [Там же: 178]).

Замечательно фундаментальное сходство конечного вывода, к которому приходят Соссюр и Марр, исходя в своих рассуждениях из диаметрально противоположных отправных позиций. Для одного — эмпирические наблюдения теряют всякий смысл, пока не будет должным образом постулирован сам предмет этих наблюдений. Для другого — настоящие

⁹ На сходство стиля Марра с языком Платонова неоднократно указывалось в критической литературе; см., в частности, [Добренко 2013].

наблюдения над языком еще не начались, более того, им не дает начаться накопившаяся инерция привычных суждений о предмете. Пункт, в котором встречается мысль двух философов языка, состоит в том, что язык не может описываться как феноменальная данность, подлежащая прямому наблюдению и логическому упорядочиванию. Существование языка протекает в принципиально иной плоскости. Язык «произволен» (Соссюр), в нем нет ничего «натурального» (Марр). Язык — это факт культуры, не выводимый ни из законов логики, ни из аналогии с естественными науками.

2. Язык как процесс: стихийная непрерывность движения

Язык в его отрицательно-релятивной проекции (*la langue*), постулированной в «Курсе общей лингвистики», внеположен говорящим на нем. Язык не принадлежит никому, потому что он принадлежит всем. Никто не может быть за него ответственным, никто не может его направить в определенную сторону и подчинить каким бы то ни было интеллектуальным, социальным или практическим целям. Все попытки, направленные на урегулирование и целенаправленное изменение языка, имеют неизбежным следствием непредсказуемые вторичные эффекты.

Те читатели книги Соссюра, которые восприняли ее как бескомпромиссное утверждение имманентно-системной по «синхронии», не обратили должного внимания на тот факт, что для Соссюра непрерывное движение языка, более того, полная стихийность этого процесса, вытекает из самой сущности языкового знака как произвольно сложившегося образования, не имеющего никакого собственного семиотического пространства, за исключением того, какое ему позволяют занимать другие соположенные с ним, такие же «бездомные» семиотические образования. Фундаментальная ошибка философов XVIII столетия заключалась в непонимании того, что язык имеет социальную природу и как следствие не может быть построен рационально. Все изменения в языке носят дискурсивный характер. Все инновации появляются спонтанно в процессе речи [Saussure 2002: 94].

Знак не имеет никакой собственной позитивной основы, он существует лишь в силу его дифференциации по отношению к другим знакам. Поэтому его ценность может измениться как угодно в любой момент, при любых изменениях окружающей знаковой среды¹⁰. Отсюда «абсолютная неспособность любого знака в любой момент его существования знать, какова будет его идентичность в следующий момент» [Saussure 2003: 367]. В сущности, язык не может не изменяться все время, и притом изменяться произвольным и непредсказуемым образом, — именно потому, что его знаки не имеют под собой никакой твердой ценностной почвы, на которой они могли бы утвердиться. У языка так же мало выбора, двигаться ему или нет, и в каком направлении, как у потока, низвергающегося по склону, замечает Соссюр в одном из набросков.

Между тем в сознании говорящих язык всегда остается «одним и тем же», по крайней мере в своих фундаментальных чертах. Изменения в языке происходят помимо не только их воли, но даже сознания. «Курс общей лингвистики» определял эту парадоксальную особенность языка как антиномию «изменчивости» и «неизменности» (*mutabilité* vs. *immutabilité*) языкового знака. Если бы человек мог прожить две тысячи лет, замечает Соссюр, он, наверно, представлялся бы самому себе по-прежнему говорящим на языке Юлия Цезаря (разве что с добавлением кое-каких «модных» неологизмов), тогда как в действительности

¹⁰ На то, что из принципа арбитrarности языкового знака вытекает не независимость его от употребления, а напротив, максимальная подвижность и нестабильность, указал Джонатан Каллер [Culler 1976/1986: 29–33]. Характерно, что основной специализацией Каллера является литературная теория и базирующаяся на ней философия языка.

его речь была бы речью современного парижанина. Говорящий синхронизирован с языком, он нечувствителен к движению языка, подобно тому как мы нечувствительны к движению Земли. Именно это парадоксальное переживание «неподвижности» языка Соссюр обозначает как принцип синхронии.

Марр, напротив, стремится определить это свойство языка в позитивных категориях, как следствие его постоянного пересоздания говорящими в процессе социального взаимодействия. Язык для Марра «не социальное потребление, а социальное творчество». Для него говорящий не пассивный потребитель, не замечающий даже, как доставшееся ему в наследство семиотическое хозяйство, которое он полагает своей собственностью, изменяется в силу самого факта его использования, а труженик, неустанно занятый производством социально значимых языковых продуктов. Языковую деятельность Марр понимает в буквальном смысле как **работу**, являющуюся неотъемлемой составной частью трудовой деятельности. У Марра — как впоследствии у Витгенштейна и Бахтина — знаменитый тезис Гумбольдта о языке как «энергии» транслируется из чистого духовного усилия в сферу деятельности в буквальном смысле, со всеми связанными с ней интенциями и ситуативными обстоятельствами. Лингвистику, возвращающую языку его деятельностную природу, Марр называет «этнолингвистикой», в противопоставлении с традиционной наукой о языке, вышедшей из лона «филологии». По его словам, этнолингвистика «несла с собою необходимость напряженного внимания к реалиям, материальной обстановке среды изучаемой живой речи» («Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в создании средиземноморской культуры» (1920) [Марр 1933: 89]). Язык в этнолингвистическом измерении предстает как процесс производства, протекающий симультанно с процессом производства материальной и духовной культуры.

Язык для Марра — это совокупность перформативных языковых «жестов», диктуемых сиюминутной потребностью производительной деятельности. Чистое «говорение» как реализация языковой компетенции — это, по Марру, предрассудок современной (европейской) цивилизации, преувеличивающий самоценный характер создаваемых ею языковых продуктов, в силу чего затемняется их привязанность к конкретным практическим мотивациям и сиюминутной ситуации. У людей, усилиями которых язык создавался «не тысячелетиями, а десятками, сотнями тысячелетий», не было ни нормативной «техники» обращения с языком, ни логического плана действий, они «брали на глаз, были представления, но не было четких понятий» [Марр 1976: 9], действовали как придется, как позволят и подскажут обстоятельства, пользуясь наличным языковым материалом как подручным средством.

При всей их сумбурной хаотичности (как будто иллюстрирующей принцип языкового творчества «на глаз»), в этих высказываниях Марра обнаруживается замечательно близкое сродство с подходом к языку как к перформативному «речевому акту», цель которого — добиться нужного практического результата, а не удовлетворить грамматиста. Подобно тому как поздний Витгенштейн иронизирует над грамматистом (собирательный образ которого, несомненно, включает и его самого времен «Логико-философского трактата»), сетующим на то, что наличная языковая практика не соответствует его постулатам, вместо того чтобы сетовать на неадекватность самих постулатов, Марр категорически заявляет: «Нет ничего в мире неправильного в своем массовом творчестве. (...) Неправильными нам кажутся явления только потому, что наши общие научные взгляды неправильны» («Основные достижения яфетической теории» (1925) [Марр 1933: 16–17]). Вообще «теневое» присутствие Марра в революционных концепциях языка 1940-х — 1950-х гг., от «Философских исследований» Витгенштейна до теории речевых жанров Бахтина, предлагает увлекательный материал для размышлений о перипетиях лингво-философской мысли в XX в.

Но сейчас обратим внимание на тот аспект мысли Марра, в котором она встречается с идеями Соссюра. Этот аспект заключается в полной непредсказуемости и неподконтрольности движения языка. У Соссюра этот принцип вытекает из феноменологической

редукции представления о языковом знаке, обнаруживающей отсутствие у него как феноменального, так и логического основания; язык буквально ускользает из наших рук каждый раз, когда мы пытаемся ему что-то навязать. У Марра, напротив, язык не существует иначе как «в руках» тех, кто занят трудом его постоянного пересоздания в применении к своим жизненным потребностям. Марр насквозь идеологичен, язык для него (как и для Бахтина, в 1930-е гг., как кажется, испытывавшего влияние идей «нового учения»¹¹) живет и движется не иначе, как в силовом поле интенций, утверждений и отторжений.

Очевидная несхожесть интеллектуального опыта двух ученых, той интеллектуальной среды, в которой движется их мысль, только подчеркивает фундаментальное сходство вывода, к которому они приходят. У неокантианского критического радикализма Соссюра и стихийно-бунтарского материалистического радикализма (сродственного с русскими футуристами) Марра оказывается общий антипод: отношение к языку как к эмпирически заданному (в подразумевании — зафиксированному в письменных текстах) предмету, сама история которого может быть представлена как ряд последовательных состояний.

3. У языка никогда не было и не могло быть единого «начала»

Естественным следствием фундаментального сходства в подходе Марра и Соссюра к языку как интерактивной деятельности является утверждение о принципиальной невозможности у языка абсолютного «начала», в котором он выступал бы как полное и чистое единство.

По вопросу о единстве языка, вернее, полном отсутствии такового, Марр занимает крайнюю позицию. Единого языкового образования, существующего, хотя бы как идеальный конструкт, вне постоянного смешивания разнородного языкового материала, для него просто не существует. Язык для него — это поле тотальных скрещений, в которое могут быть вовлечены, исходя из требований момента, любые элементы, независимо от их собственного характера и происхождения. Разрозненный и смешанный характер исторического развития на ранних его этапах очевиден «палеонтологу» культуры, рассматривающему свидетельства ранней материальной культуры: «Простых образований, девственно непочатых представителей какой-либо чистой расовой речи не только мы не находим ни в одном племени (...), но их никогда и не было. В самом возникновении и естественном дальнейшем творческом развитии языков основную роль играет скрещение» («К происхождению языков» (1925) [Марр 1933: 266]).

Как обычно у Марра, главным источником предрассудков современной науки о языке оказывается непомерный вес, придаваемый письменности в качестве свидетельства структурного состояния языка и его развития. Принципиальную ошибку индоевропейской лингвистики XIX в. Марр видит в том, что она брала за основу письменные свидетельства древнейших языков, экстраполируя из обнаруживаемых в них сходных черт некое изначальное единство. Между тем образование крупных культурных и языковых конгломераций, относительное единство которых опирается на общий опыт и общую память, — явление позднее. Чем дальше археолог и этнограф углубляются в прошлое, тем яснее обнаруживается раздробленность и рассеянность бесчисленных племенных образований и их культур. Но «в лингвистике действительно искали и до сих пор ищут своих райских рек (...), на берегах которых должны были жить прародители индоевропейцев в полной

¹¹ Вопрос о пересечении философии языка Н. В. Волошинова и М. М. Бахтина с концепцией Марра и связанным с ней более широким кругом идей (О. М. Фрейдсберг) поднят в книге [Алпатов 2005: 56–60].

готовности выступить для заселения Европы во всеоружии речи и большой культуры» («Лингвистически намечаемые эпохи развития человечества и их увязка с историей материальной культуры» (1926) [Там же: 36–37]).

Марр видит в представлении о первоначальном единстве языка — будь то «естественный язык» Руссо либо индоевропейский праязык — лингвистическую версию культурного мифа о Золотом веке, который в действительности нового времени становится идеологическим средством утверждения расового превосходства «индоевропейцев»: «Библейский рай Адама, Гесиодов золотой век почти непочато были восприняты господствовавшим языковедным мышлением XIX века, вопреки всякой очевидности утверждавшем о существовании некогда праязыка, общего всем разновидностям индоевропейской речи» [Там же].

Идея развития индоевропейской семьи из единого праязыка представляется Марру в виде перевернутой геометрической фигуры, расширяющейся вверх от вершины, находящейся в ее основании. В полном контрасте с таким представлением истории, «яфетическая пирамида» Марра стоит на максимальном широком основании, представляющем наибольшее разнообразие и разрозненность архаических речевых практик, которое постепенно суживается (но все же остается «пирамидой», то есть не сходится к единой точке) в результате позднейшей культурной и языковой консолидации.

Для Соссюра исходной точкой аналогичного рассуждения является релятивность языковых знаков. Язык для него — это тотальное поле различий. Это означает, что «первозыск» или «первознак» невозможен в принципе. Любое явление языка возникает путем дифференциации, как нечто, характеризующееся отличием от чего-то другого. Среди «миллионов языковых форм» не существует ни одной, которую можно было бы представить как продукт изначального усилия мысли (*un jet original*) [Saussure 2002: 103].

Постулирование, даже чисто умозрительное, некоего первоначального состояния сразу уводит мысль о языке по ложному пути «номенклатуризма». Можно опять вспомнить в этой связи слова Соссюра о «крайней вульгарности» представления о первоначальном «райском» состоянии языка, в котором каждое слово представляло собой своего рода ярлык, репрезентирующий определенное значение. Философская критика Соссюра и этнографический подход Марра к языку в контексте материальной культуры сходятся в деконструкции этого эмблематического образа, воплощающего в себе утопическую мечту о «золотом веке» изначального всеединства.

4. Органическое единство языка как идеологическая фикция

Понятие национального или племенного «языка» как некоего органического целого — это, по Марру, фикция, имеющая под собой идеологические основания. Истинной пружиной взгляда на язык как на закономерно построенное и стабильное целое является легитимизация и поддержание иерархического социального и культурного порядка. Лингвистика, в основании которой лежит презумпция системной «правильности» материала, подлежащего описанию, оказывается орудием утверждения превосходства «культурных» (в первую очередь индоевропейских) языков, а в рамках самих этих языков — их кодифицированного воплощения, являющегося достоянием и культурным оружием элиты. Взгляд на язык как на целостный структурный организм игнорирует «язык улицы», то, как люди пользуются языком в повседневности.

Критика Марра во многом превосхищала то, что будет говорить Бахтин, а впоследствии французские семиологи (Барт, Кристева, Бурдьё) о культурном конструкте единого национального языка как орудии утверждения социальной иерархии. «Новое учение», по словам Марра, получено в результате изучения живых языков «вне всяких расовых миражей, вне учета феодально-буржуазных классовых и национальных перегородок и зlostных

предрассудков, вне зависимости от великодержавия какого бы то ни было языка» («Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык» (1931) [Марр 1933: 104]).

Примечательно, что говоря об «идеологических основаниях самодержавности русской речи», Марр не забывает указать, что жертвой этой идеологии оказывается и сам русский язык, в силу искусственной обособленности, которая ему навязывается. Задача состоит в том, чтобы «вывести русскую речь из той замкнутости, в которую она попала в отношении к окружающим языкам других систем» [Там же].

Нетрудно указать на ни с чем не сообразные преувеличения, которые Марр допускает в утверждении примата скрещений над культурным и национальным единством языка, и немислимые в их произвольной беспорядочности этимологические сопоставления, которыми он иллюстрирует свои рассуждения. Марр преднамеренно «отворачивается» от действительности старописьменных языков с богатой традицией литературных институтов, видя в них то, что Иисус изобличал как ложную мудрость книжников и фарисеев. «Новое учение» обращено к лингвистически обездоленным и униженным, тем, кому в царстве книжного «закона» отведена роль «последних», чей языковой голос как бы не существует. Но это и есть та языковая среда, в которой любые перемешивания разнородного материала и его переосмысливание, любые «народные этимологии» становятся действительностью. Лингвистическая позиция Марра, стремящегося привлечь внимание к этой гигантской языковой стихии, сродни радикальному пересмотру характера народного творчества в эстетике модернизма: от благообразного ореола почвенной чистоты, которым оно было окружено в XIX в., к хаосу импровизированных алогизмов, разностильности и разноголосицы.

Соссюр всегда был яростным противником «органического» взгляда на язык как на духовное единство, воплощающее в своих формах национальный «дух» или «гений» его носителей. Соссюру был чужд ораторский пафос, его уход от всяческой эмфазы нередко оборачивается недосказанностью. Однако эмоциональное напряжение, стоящее за его подчеркнутыми лаконичными определениями, время от времени прорывается в виде внезапных взрывов возмущения. Примечательным эмоциональным моментом такого рода стала заключительная глава «Курса общей лингвистики» (ч. V, гл. 5). Ее заголовок «Языковые семьи и языковые типы» не предвещает ничего, кроме изложения широко известных понятий лингвистической науки, сведениям о которых и поныне принадлежит определенное место в стандартных курсах «общего языкознания». Соссюр, однако, с самого начала уклоняется с проторенной дороги, начав изложение предмета подтверждением ключевого принципа всего «Курса» — принципа арбитражности языкового знака. Вывод, который делается из этого принципа применительно к типологии языковых структур, состоит в бесконечном и непредсказуемом разнообразии структурных конфигураций, которые могут появиться в любом языке в ходе стихийного процесса его развития. Из этого следует («настоятельно» подчеркивает автор), что ни один язык и ни одна языковая семья не может претендовать на то, чтобы раз и навсегда представлять некоторый единый структурный «тип». По какому праву, «во имя чего» действуют те, кто «пытается наложить ограничения на деятельность, не знающую никаких ограничений?»¹² — спрашивает Соссюр с возмущением, заставляющим вспомнить пафос марровских инвектив.

В подтексте этой эмоции у Соссюра, как и у Марра, лежит тот факт, что типология языков, какой она была построена в XIX в., недвусмысленно служила утверждению структурного превосходства так называемого «флективного» строя, представленного индоевропейскими языками, а в подразумевании — превосходства цивилизации, построенной носителями этих языков, «индоевропейцами». Однако у негодования Соссюра можно разглядеть и личный подтекст. Брат Соссюра Леопольд был известным специалистом в области китайского языка и антропологии. В книге, вышедшей в свет в 1899 г., «Психология

¹² «Au nom de quoi prétendrait-on imposer des limites à une action qui n'en connaît aucune?» [Sausure 1972: 313].

французской колонизации в ее соотношении с местными сообществами» [L. Saussure 1899], открыто утверждалось структурное превосходство флективных языков перед «корнеизолирующими»; отсюда делался вывод о цивилизационной миссии европейцев по отношению к народам, обреченным на отсталость в силу структурной неполноценности их языка.

Заключительная глава «Курса» отвечала на эти претензии примерами из различных языков, призванными показать, что ни один язык в своем развитии не показывает полную корреляцию ни с определенным строением, ни с определенной культурной традицией. Ничто в языке не постоянно, «моменты постоянства сами возникают как случайность». Какие бы природные, логические или культурно-исторические критерии ни прилагались к языку, он всегда от них ускользает, оставаясь самим собой в своей бесконечной изменчивости и ничем не ограниченной свободой. Заключение «Курса» возвращает к центральной мысли Соссюра о том, что язык «конвенционален, более того, арбитрарен, полностью лишен естественной соотнесенности с объектами, абсолютно свободен и беззаконен в отношении к самому себе» [Saussure 2002: 202].

Принцип метафизической свободы у Соссюра и принцип языка как спонтанной деятельности у Марра сходятся в утверждении бесконечного разнообразия языковых проявлений и как следствие этого невозможности втиснуть язык в какую-либо ценностную иерархию. Оба они остро ощущают идеологическую подоплеку подхода к языку как к целостному структурному типу.

5. Послесловие: «соссюризм» и «марризм» в 1930-е — 1940-е гг.

Революционная антиимпериалистическая риторика, с ее образом пролетариата, не имеющего отечества, сыграла роль горячего материала, подброшенного в пылающий костер библейского и евангельского пафоса, с самого начала характеризовавшего и суть идей Марра, и манеру их изложения. Сам Марр заявлял о своем «учении» как о лингвистическом аналоге пролетарской революции с полной недвусмысленностью: «Весь свет в отношении языка распался на сотни замкнутых мирков, и вот когда Октябрем были взорваны эти миры и мирки, фальшивые перегородки были сметены, как паутина, старое учение о языке оказалось захваченным врасплох» [Marx 1976: 7].

Марр был отнюдь не одинок в деле риторического «скращения» евангельского мессианизма с марксистской идеологией и риторикой¹³. Апелляция к «широким массам» говорящих, в первую очередь к тем, кто находится на нижней ступени традиционной иерархии; трудовая природа языка, его связь с материальной культурой; наконец, осознание перво-степенной исторической роли «народов Востока», доселе пребывавших на далеких окраинах традиционного культурного мира, если не вовсе за его пределами, — весь этот комплекс идей, сложившихся в русле духовной революции раннего модернизма, определил ту готовность, с которой многие его деятели откликнулись на принесенное революцией обещание их воплощения в новую социальную действительность, сопровождаемое захватывающей картиной разрушения старого мира. Путь Марра в 1920-е гг. находил параллели в путях Маяковского и Блока, Шкловского и Лукача, Беньямина и Брехта. Те деформации, которые претерпела революционная философская мысль начала века в новой духовной и социальной среде, были гораздо в большей степени связаны с ее готовностью участвовать в построении новой действительности, даже показывать к ней путь, чем с принуждением и борьбой за выживание. Отсюда вполне спонтанный характер этих трансформаций или деформаций, в силу которых новые идеи, фактически отрицавшие самую суть

¹³ Поразительные документальные свидетельства активизации старославянской лексики и библейской идиоматики в публицистическом языке 1920-х годов содержатся в книге [Селищев 1928].

того, что говорилось прежде, воспринимались их создателями как естественный процесс их эволюции. Можно еще раз вспомнить в этой связи соссюрковского гипотетического парижанина, живущего две тысячи лет в сознании, что он продолжает говорить на «том же» языке времен Цицерона и Цезаря.

Ключевым моментом в трансформации идей Марра о языке в послереволюционном контексте можно считать их трудовой аспект. В своем первоначальном виде идея высказывания как социально-производительного речевого акта ориентировалась на образ «кустарного» самодельного творчества. Говорят то и так, как этого требует конкретная социально-деятельностная ситуация, используя тот сырой материал, который оказался в наличии. Говорящий у Марра напоминает образы платоновских «мастеров», создающих всевозможные приспособления (вплоть до вечного двигателя) из того, по большей части кем-то выброшенного за негодностью, материала, который попался им на улице или в сарае. При таком подходе язык представляется развивающимся спонтанно, адаптируясь к каждой конкретной ситуации. Это своего рода лингвистический неоламаркизм, готовый (подобно Ламарку в стихотворении Мандельштама) сражаться за «честь» созданий природы, оттесненных на низшую ступень в тотальной конкурентной борьбе.

В двадцатые годы эта концепция недвусмысленно окрашивается в тона производственной риторики. Можно заметить, что аналогичную эволюцию претерпела идеология и риторика Формальной школы (и испытавших ее влияние Бенямина и Брехта), в русле которой такие ключевые концепты 1910-х гг., как «прием» и «литературность», преобразились в образы литературы как массового производства, автора как «производителя», работающего на социальный заказ, и литературного произведения как «сделанного» артефакта. От такого представления языкотворческой деятельности один шаг к тому, чтобы представить ее как закономерный процесс, следующий гегельянской или марксистской логике закономерного сменяющихся стадий. Увы, Марр, а затем его ученики, последовали по этому пути, представив историю языка как тотальный глоттогонический процесс, отражающий закономерные смены «производительных сил и производственных отношений». Причем представление об основных этапах этого процесса возвращало к идеям начала XIX в. о типологических стадиях языкового строя, намеченных Шлегелем и получивших развернутое развитие у Гумбольдта. Привязанность языка к социально-трудовым усилиям начинает теперь означать, что последовательность языковых стадий должна соответствовать «общественно-экономическим» формациям и отражать их смену. Теория, начинавшаяся как бунт против сложившегося иерархического порядка, теперь обнаруживает существование более «передовых» и более «отсталых» языков, тех, которые уже прошли через ряд predetermined стадий исторической эволюции и которым еще предстоит его пройти.

Из идеи о тотальности глоттогонического процесса с неизбежностью вытекает представление о его абсолютной конечной и абсолютной начальной точке. Так возникает идея всемирного языка будущего, в который в конечном итоге сольются все языки. «Яфетидологическая пирамида», задуманная как опровержение мифа о праязыке, превращается в треугольник, сходящийся к вершине, при том что ее главная движущая сила — скрещение — по своей сути несовместима с абсолютным единством.

Но и основание этой геометрической фигуры претерпевает радикальное изменение в силу того, что у глоттогонического процесса теперь обнаруживается идеальная начальная точка, которую, удивительным образом, удается реконструировать, распутывая бесконечные переплетения скрещивающихся нитей всемирной языковой материи. Из этой сетки спекулятивных этимологических сближений, зачастую очень интересных, но нередко поражающих явным противоречием самым элементарным сведениям о предмете, выплывают четыре абсолютных первоэлемента, звучащих, как шаманское заклинание: *sal, ber, jon, roš*. Сама идея о том, что такие первоэлементы представляли собой тотемные имена архаических племенных общностей ('сарматы', 'иберы', 'ионийцы', 'русы-этруски'), первоначально имевшие самый общий социообразующий смысл, откуда затем вычленились более конкретные смыслы, несомненно, не лишена интереса в качестве философской

концепции. Но ее буквальное воплощение в закрытом списке первоэлементов, полученном в результате фантастических «реконструкций», знаменует собой возвращение, в гротескном преувеличении, старой идеи реконструкции воображаемого праязыка, на котором некогда говорили воображаемые «индоевропейцы», — идеи, вызывавшей у Марра неистощаемый поток саркастических и негодующих замечаний, и к этому времени давно уже отвергнутой сравнительно-историческим языкознанием.

Марр сам направлял и стимулировал этот процесс, по-видимому, совсем не замечая, насколько это «дальнейшее развитие» теории несовместимо с теми основаниями, из которых она возникла. В его работах 1920-х гг. на одном дыхании появляются утверждения, взаимно уничтожающие друг друга: с одной стороны, максимальное разнообразие языковой деятельности, с другой — единство глоттогонического процесса; стремление дать голос тем, кого традиционное лингвистическое мышление помещает на низшую ступень развития либо вовсе отказывается замечать, — и идея стадияльных формаций, на разных ступенях которых располагаются различные языки.

При всем различии личной судьбы ученых, судьба наследия Соссюра, оказавшегося всецело в руках учеников и последователей после его смерти, была не менее драматичной и парадоксальной. Основные теоретические положения структурной лингвистики хорошо известны. В их основании лежало прочтение «Курса общей лингвистики» как утверждения языка в качестве имманентной структуры, имеющей фиксированный (синхронический) характер. Соссюровский говорящий, своевольно распоряжающийся языком, сам того не замечая, превращается в исполнителя предудказанных операций, основанных на его «знании» языка. Само это «знание» все более явственно приобретает черты универсальной врожденной языковой способности, получающей лишь поверхностное воплощение в конкретном материале, поставляемом речевым опытом.

Нет смысла гадать о том, какова была бы интеллектуальная судьба Соссюра, а вместе с ним и его наследия, если бы он дожил до эпохи всемирного триумфа «соссюризма». Я не согласен с теми, кто сейчас, в свете острой постструктуральной критики «соссюризма», стремится отрицать какую-либо причастность самого Соссюра к этому процессу. Изложение «Курса» так фрагментарно и эллиптично, оно содержит в себе столько антиномий, которые без надлежащего разъяснения могут быть истолкованы в любую сторону, что превращение этого с виду бесстрастно-объективного, а в сущности до крайности фрагментарного и полного загадочных недоговоренностей текста в некое концептуальное целое, отвечавшее тяготению теоретической лингвистики последующих десятилетий к рационалистическому универсализму, представляется результатом не только естественным, но может быть, даже неизбежным.

Если воспользоваться широкими культурно-историческими аналогиями, можно сказать, что Марр и Соссюр не были людьми «Серебряного века»; они принадлежали к предшествовавшему поколению, чье духовное пробуждение в 1890-е гг. было связано с именами Бодлера, Вагнера, Ницше, французских символистов и британских прерафаэлитов, и конечно же, с новым бытием критической философии Канта. Последовавшему вскоре за ними апокалиптически окрашенному «Серебряному веку» радикального модернизма (я употребляю это название обобщенно, имея в виду не только Россию), с характерной для многих его деятелей бескомпромиссной буквальностью в отношении к миру идеальных ценностей, предстояло придать идеям своих непосредственных предшественников мировой резонанс, а вместе с тем определить их восприятие в духе тотального детерминизма. Судьба философских идей о языке, заявленных — не без пропуска логических звеньев и антиномической противоречивости — Марром и Соссюром (вместе с целым рядом других лингвистов и философов, которые в этой статье упоминались лишь вскользь, либо вовсе не упоминались), представляется характерной для судьбы многих духовных прорывов антипозитивистской революции рубежа XX в., вызвавших к жизни в последовавшую за ними эпоху утопический пафос всеединства и затем унесенных его бурным течением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Алпатов 1991 — Алпатов В. М. *История одного мифа: Марр и марризм*. М.: Наука, 1991 (2-е изд.: 2004). [Alpatov V. M. *Istoriya odnogo mifa: Marr i marrizm* [A story of one myth: Marr and Marrism]. Moscow: Nauka, 1991 (2nd edn. 2004).]
- Алпатов 2005 — Алпатов В. М. *Волошинов, Бахтин и лингвистика*. М.: Языки славянских культур, 2005. [Alpatov V. M. *Voloshinov, Bakhtin i lingvistika* [Voloshinov, Bakhtin and linguistics]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul'tur, 2005.]
- Добренко 2013 — Добренко Е. Споря о Марре ([Рец. на:] Илизаров И. С. Почетный академик Сталин и академик Марр. М., 2012). *Новое литературное обозрение*, 2013, 119(1): 340–348. [Dobrenko E. Debating on Marr ([Review of:] Ilizarov I. S. *Pochetnyi akademik Stalin i akademik Marr*. Moscow, 2012). *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2013, 119(1): 340–348.]
- Илизаров 2012 — Илизаров И. С. *Почетный академик Сталин и академик Марр*. М.: Вече, 2012. [Ilizarov I. S. *Pochetnyi akademik Stalin i akademik Marr* [The Honorary Academician Stalin and Academician Marr]. Moscow: Veche, 2012.]
- Марр 1933 — Марр Н. Я. *Вопросы языка в освещении яфетической теории*. Л.: ГАИМК, 1933. [Marr N. Ya. *Voprosy yazyka v osveshchenii yafeticheskoi teorii* [Issues of language in the perspective of the Japhetic Theory]. Leningrad: State Academy of History of Material Culture, 1933.]
- Марр 1964 — Марр Н. Я. *Об истоках творчества Руставели и его поэме*. Тбилиси: АН Грузинской ССР, 1964. [Marr N. Ya. *Ob istokakh tvorchestva Rustaveli i ego poeme* [On the origins of Rustaveli's creative work and his poem]. Tbilisi: Academy of Sciences of the Georgian SSR, 1964.]
- Марр 1976 — Марр Н. Я. *Язык и современность*. Letchworth: Prideaux Press, 1976. [Marr N. Ya. *Yazyk i sovremennost'* [Language and modernity]. Letchworth: Prideaux Press, 1976.]
- Марр 2002 — Марр Н. Я. *Яфетидология*. М.: Кучково поле, 2002. [Marr N. Ya. *Yafetidologiya* [Japhetidology]. Moscow: Kuchkovo Pole, 2002.]
- Селищев 1928 — Селищев А. М. *Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет, 1917–1926*. Москва: Работник просвещения, 1928; М.: URSS, 2003. [Selishchev A. M. *Yazyk revolyutsionnoi epokhi. Iz nablyudeni nad russkim yazykom poslednikh let, 1917–1926* [Language of the revolutionary era: From observations on the Russian language of recent years (1917–1926)]. Moscow: Rabotnik Prosveshcheniya, 1928. Reprint: Moscow: URSS, 2003.]
- Сумерки лингвистики 2001 — Нерознак В. П. (ред.). *Сумерки лингвистики. Из истории отечественного языкознания. Антология*. М.: Academia, 2001. [Neroznak V. P. (ed.). *Sumerki lingvistiki. Iz istorii otechestvennogo yazykoznaniya* [The twilight of linguistics. From the history of Russian language science]. Moscow: Academia, 2001.]
- Тристан и Исольда 1932 — Марр Н. Я. (ред.). *Тристан и Исольда. От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной Евразии*. Л.: АН СССР, 1932. [Marr N. Ya. (ed.). *Tristan i Isol'da. Ot geroini lyubvi feodal'noi Evropy do bogini matriarkhal'noi Evrazii* [Tristan and Isolde. From the love heroine of feudal Europe to the goddess of matriarchal Eurasia]. Leningrad: Academy of Sciences of the USSR, 1932.]
- Arrivé 2016 — Arrivé M. *Saussure retrouvé*. Paris: Classiques Garnier, 2016.
- Bouquet 1997 — Bouquet S. *Introduction à la lecture de Saussure*. Paris: Payot & Rivages, 1997.
- Cassirer 2001 — Cassirer E. *Philosophie der symbolischen Formen*. Vols. 1–3. Hamburg: F. Meiner, 2001.
- Culler 1976/1986 — Culler J. *Ferdinand de Saussure*. Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1986 (1st edn. 1976).
- Godel 1957 — Godel R. *Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure*. Genève: E. Droz, 1957.
- Hagège 2003 — Hagège C. La vulgate et la lettre, ou Saussure par deux fois restitué. De l'arbitraire du signe et de la syntaxe dans le *Cours de linguistique générale*. *Cahiers Ferdinand de Saussure*. Vol. 56. Genève: Société genevoise de linguistique, 2003, 111–124.]
- Harris 2001/2003 — Harris R. *Ferdinand de Saussure and his interpreters*. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2001 (2nd edn. 2003).
- Saussure 1964 — Lettres de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet, publiés par Emile Benveniste. *Cahiers Ferdinand de Saussure*. Vol. 21. Genève: Société genevoise de linguistique, 1964, 93–134.
- Saussure 1967 — de Saussure F. *Cours de linguistique générale*. Édition critique préparée par Tullio de Mauro. Paris: Payot, 1967.
- Saussure 1972–1974 — de Saussure F. *Cours de linguistique générale*. Édition critique par Rudolf Engler. Wiesbaden: Harrassowitz. T. 1 (Text), 1972. T. 2 (Appendice), 1974.

- Saussure 2002 — de Saussure F. *Écrits de linguistique générale*, compiled and edited by Simon Bouquet & Rudolf Engler. Paris: Gallimard, 2002.
- Saussure 2003 — de Saussure F. Légendes et récits d'Europe du Nord : de Sigfrid à Tristan [présenté par Béatrice Turpin]. *L'Herne Saussure*. Bouquet S. (éd.). Paris: l'Herne, 2003, 351–429.
- L. Saussure 1899 — de Saussure L. *Psychologie de la colonisation française dans ses rapports avec les sociétés indigènes*. Paris: F. Alcan, 1899.
- Sériot (éd.) 2005 — Sériot P. (éd.). *Un paradigme perdu : la linguistique marriste*. Lausanne: Université de Lausanne, 2005.
- Starobinski 1971 — Starobinski J. *Les mots sous les mots : les anagrammes de Ferdinand de Saussure*. Paris: Gallimard, 1971.

Получено / received 19.11.2019

Принято / accepted 21.01.2020